



А. И. АДЖУБЕЙ

Те десять лет

Университет. Мы — журналисты

<...> В доме Хрущевых арест врачей¹ не комментировался, хотя естественно предположить — никого не оставил равнодушным. Никита Сергеевич предпочитал лечиться сам. Иногда он приезжал с работы днем, и его ждала горячая ванна. Таким нехитрым, но проверенным способом ему удавалось снимать почечные колики.

Он по-прежнему много ездил по области, бывал в колхозах, на строительных площадках, где шло сооружение первых заводов железобетонных конструкций. В городе катастрофически не хватало жилья, сотни тысяч людей жили в подвалах и коммуналках — в жутких условиях. Если поездка намечалась на воскресенье, он приглашал Раду и меня — младшие еще не доросли.

Загрудняюсь сказать, почему он нас брал с собой: журналистику в ту пору не считал серьезным занятием и уж тем более не ждал от нас никаких «публикаций». Просто Никита Сергеевич не терпел одиночества. Любил, чтобы кто-то был рядом. Он засиживался в МК допоздна. Начальник его охраны обычно звонил мне в газету и спрашивал: «Ну как, вышла в свет наша дорогая "Комсомолочка"?» Если позволяли обстоятельства, присылал за мной «хвостовую» машину (членов Президиума ЦК сопровождала машина охраны), и я, случалось, долго ждал у подъезда МК, пока выйдет Хрущев и мы поедем на дачу, в Усово. Он предпочитал жить там, а не в переполненной городской квартире. Его тянуло на природу. Как бы поздно он ни приезжал, обязательно гулял 15–20 минут, а утром быстрым шагом пробегал по дорожкам свои полтора-два километра. Это позволяло ему выдерживать огромную нагрузку, а в городе возможности погулять не было.

Во время ночных возвращений с Никитой Сергеевичем никаких деловых разговоров не велось, и более чем наивен тот, кто пред-

полагает, что они вообще возможны в домашних обстоятельствах. Ехали обычно молча. Хрущев не спрашивал меня, как шло дежурство в газете, а я не задавал вопросов о его рабочем дне.

Утром в воскресенье Никита Сергеевич обычно просил прочитать ему театральный репертуар и почти всегда выбирал что-нибудь знакомое. Младшие члены семьи стали ходить с отцом в театр чуть позже, а в начале 50-х эта повинность лежала на нас с женой. Я не оговорился: именно повинность. Никита Сергеевич чаще всего выбирал МХАТ, хотя все спектакли видел не один раз. «Горячее сердце»², наверное, раз десять, не меньше, и мы вместе с ним. Соглашался на любую оперу в Большом, а к балету относился равнодушно. Правда, ходил на балетные спектакли, если танцевала Уланова или кто-нибудь из известных балерин.

Любил он Театр имени Моссовета, считал его своим, московским. Юрий Александрович Завадский во время антракта непременно приглашался в ложу на чай. Они вспоминали многих актеров той поры, когда Хрущев в начале и в середине 30-х только начинал в Москве. Однако, если Завадский втягивал Хрущева в деловые разговоры, в оценку спектакля, Никита Сергеевич отшучивался: «Вы же видите, я не собираюсь уходить со второго акта. — И добавлял после паузы: — Хотя, может быть, и хочется. Зачем обижать актеров...»

В ту пору он не считал себя судьей ни в театральных делах, ни в кино, ни в литературе. Правда, в машине мог обронить: «Ерунда какая-то». Но не больше. Он не принимал бытовые спектакли, не любил «копания в грязном белье».

В его привязанностях особое место занимал документальный кинематограф. Киножурналы, посвященные науке, строительству, сельскому хозяйству, просматривал непременно. Если в просмотровом зале были помощники, он поручал им собрать дополнительные сведения о тех или иных новинках техники, изобретениях, интересных людях. Увы, не всегда то, что пропагандировалось на экране, существовало на самом деле. «Кинолипа» страшно раздражала Хрущева, он воспринимал вранье как личную обиду.

Во время московских гастролей Киевского оперного театра актеры бывали на даче у Никиты Сергеевича. Вместе с ними он пел народные русские и украинские песни. Шло своеобразное музыкальное соревнование (голоса у Хрущева не было) на знание песен редких, фольклорных. К чести украинских певцов, они почти всегда подхватывали слова самых «забытых» песен и припевок. Хрущев родился в курской деревне, долго ходил в подпасаках, много, конечно, слышал в детстве южных русских народных напевов; рядом располагались украинские села. Любила петь, как

рассказывали, и его мать, Ксения Ивановна; на деревенский лад она говорила не «петь», а «кричать» песню.

Перебирая сейчас в памяти черты характера Никиты Сергеевича, думая о том, что больше всего он ценил в людях, прихожу к выводу — деловитость, профессионализм, трудовое достоинство. Хрущев уважал тех, кто энергично строит жизнь, не без гордости вспоминал, что в лучшие свои рабочие годы в Донбассе получал 30 рублей золотом. Слесарь должен был обладать высокой квалификацией, чтобы его труд так высоко оплачивали. Однажды исполнилась мечта молодого Хрущева. Он подкопил денег на покупку пальто. Приехал в Юзовку, пришел в магазин. «Подскочил приказчик, — рассказывал Никита Сергеевич, — спрашивает: «Чего изволите?» Я ему про пальто, он тут же достает, поглаживает один рукав, другой. «Какое желаете, правое или левое?» Я пощупал материал, поколебался и ткнул пальцем — правое. Продавец посмеивается. Оказалось, рукава от одного пальто». Хрущев не раз приводил этот пример на разных совещаниях, когда речь шла о торговле, заканчивал обычно шутливой сентенцией: «Вот так умели торговать дореволюционные приказчики. Наш советский продавец не будет морочить голову покупателю, он ему говорит: сам выбирай».

Хрущев не был призван на военную службу в годы первой мировой войны, шахтеров в армию не брали. Жизнь в Донбассе становилась все тяжелее, вспыхивали забастовки, появились в шахтерских поселках казацьи сотни. К этому времени Хрущев уже определил свои позиции. В годы гражданской войны он был комиссаром при политотделе 9-й армии на Южном фронте. Эта армия входила в состав Первой Конной. Уже в ту пору Хрущев знал Ворошилова и Буденного. Чаще других он вспоминал комиссара Фурманова.

Помню, во время визита Никиты Сергеевича в Соединенные Штаты Америки на приеме в Лос-Анджелесе среди хозяев оказался сын купца из Ростова-на-Дону. Семью купца вышвырнули из этого города как раз те части, где служил Никита Сергеевич, и она оказалась в Америке. Когда это выяснилось, произошла некоторая заминка, а затем Хрущев, забыв о «протокольных приличиях», заявил, что не желает ни есть, ни пить рядом с «контрой», что он приехал встречаться с настоящими американцами, а не с беляками. Сына «беляка» куда-то отгнали, рядом с Никитой Сергеевичем посадили «настоящего американца». Инцидент дипломатично замяли. Хрущев несколько не жалел о сказанном. Немало было случаев, когда Никита Сергеевич эпатировал общественное мнение, но люди, видевшие его в таких обстоятельствах, замечали,

что за кажущейся несдержанностью проглядывал тонкий, а иногда и лукавый расчет.

Бог знает, каких только «штрихов к портрету» Хрущева не добавляют! Я прежде всего смотрю на год выпуска таких свидетельств — это многое объясняет. Хрущев, естественно, не был ангелом. Не был он и холодным политиком, не прятал взрывной сущности натуры. Особенно его раздражало пренебрежение делом и тем более притупление идеологической бдительности, как он ее понимал. Тут он бывал резким, и, случалось, никакие аргументы не могли заставить его изменить оценку человека или решение.

Теперь часто отыскиваются примеры ошибок Хрущева, его необъективности и даже самоотрицания в подходах к тому принципиальному развитию событий, которое нарастало в обществе благодаря его стараниям. Но что было, то было. Хрущеву не раз говорили, что Владимир Дудинцев в романе «Не хлебом единым»³ написал как раз о тех негативных явлениях, которые он, Хрущев, критикует, — это не изменило отрицательного отношения к книге. Непостижимо! Когда скульптор Эрнст Неизвестный задумывал памятник Н. С. Хрущеву на Новодевичьем кладбище, он соединил в нем белый и черный камень. Ломаная черно-белая линия надгробия — зримое подтверждение того, что в этом сплетении есть правда о любом человеке, кроме разве что Христа. <...>

Какова цена

<...> 1957 год начался более спокойно. Летом этого года Хрущев решил отправиться в Венгрию с дружественным (!) визитом.

Главную речь Хрущев произнес на многотысячном митинге в центре города. Хрущева не остановило предупреждение охраны об опасности стоять перед огромной массой людей после известных событий. Хрущев не то чтобы был беспечным человеком, но он понимал крайнюю необходимость обратиться именно к такому большому собранию. Хрущев не побоялся коснуться щепетильной темы о войсках царя Николая Первого, потопивших в крови восстание венгерских патриотов против гнета австрийцев в 1848 году.

Перед началом митинга Янош Кадар сказал Хрущеву, что на балконе американского посольства стоят и слушают его американский посол и скрывающийся в здании посольства кардинал Миндсетти⁴. Это только возбудило Хрущева. Он повернулся лицом к американскому посольству и посылал туда непарламентские фразы. Посол демонстративно удалился. Когда митинг закончился, Хрущев ринулся в толпу слушателей. Здесь, в тесной толпе, Хрущев рассказывал о своей дружбе со многими венгерскими

товарищами. Напомнил, как еще в 1929 году на военных сборах Ференц Мюних (ставший вскоре после событий 1956 года Председателем венгерского правительства) влил Хрущеву трое суток ареста на гауптвахте за нескатанную по правилам шинель. Хрущев отвечал на вопросы толпы о Сталине, напоминая при этом, что и товарищ Янош Кадар был жертвой сталинского произвола.

Новые проблемы и в нашей стране, и в мире, относящиеся к 56-му и 57-му годам, отодвигали венгерскую, да и не только венгерскую, историю на второй план. Египет отстоял свою независимость. Происходило политическое прозрение в самых разных общественных кругах. Так или иначе, но разрыв со сталинизмом все более углублялся. Те, первые, начавшие эту работу, не были безгрешными. Чтобы честно судить о них, следует помнить и точки отсчета, а не относить объяснения тяготевшего над обществом сталинского прессинга на счет некоей поздней самоадвокатуры.

Драма Венгрии долго не давала покоя Хрущеву. Дело состояло не в том, что Хрущев на каком-то этапе изменил свое мнение о необходимости и правомерности того военного шага. Пожалуй, именно после венгерских событий он начал более четко представлять себе, как сложно рвать с пуповиной, которая связывала нас всех со Сталиным и сталинизмом. И еще. Я помню, что Никита Сергеевич часто заговаривал о присутствии советских войск, пусть и на дружеских, но все-таки чужих территориях. Он считал, что надо уйти от этой необходимости. Никогда не забуду фразы, которую в пенсионные годы часто повторял Хрущев: «Это невероятно держать рай под замком». Он относил эту мысль к свободе поездок советских граждан за границу, но, думается, ее следует понимать шире.

Года через три после венгерских событий, во время встречи с Яношем Кадаром в Крыму, Никита Сергеевич спросил у него: «Быть может, пора нашим солдатам вернуться с венгерской земли?» Кадар помедлил. «Лучше уж, товарищ Хрущев, пусть у нас побудут ваши солдаты, а у вас — Ракоши. И вы дадите гарантии, что он к нам никогда не вернется».

Ракоши, ставленник Сталина, бежавший из Венгрии осенью 1956 года, доживал свой век в Краснодаре. Не только Кадар, но и Хрущев понимали, что в Венгрии есть круги, на которые Ракоши все еще надеялся опереться.

В те годы Хрущева не оставляла мысль о выводе наших войск не только из Венгрии, но и из Польши. Об этом он говорил с Гомулкой. Хрущев, конечно, не мог не считаться с НАТО, с американцами в Западной Европе, вот почему он твердо подчеркивал, что присутствие Советской Армии в ГДР необходимо. Там проходила линия прямого противостояния Варшавского Договора и НАТО...

Много позже, уже в 1968 году, когда советские войска вошли в Чехословакию, Никита Сергеевич воспринял это известие более чем нервозно. Я просто не помню, чтобы какое-то иное событие той поры так взволновало его. Он делился своим беспокойством, чувством большой тревоги.

«Там совсем не такая ситуация, как была в Венгрии, — рассуждал Хрущев. — Очень трудно будет это объяснить в Чехословакии... А потом, — добавил он, — войска легче вводить в другие страны, чем выводить их оттуда».

Вполне допускаю, что Хрущев руководствовался больше эмоциями, чем анализом фактов, когда говорил о Чехословакии. Наверное, не ушли из его памяти и события в Венгрии.

Правда, так говорил уже другой Хрущев, все-таки другой. Ни в чем не изменившийся принципиально, а просто получивший способность спокойного, «для себя», анализа пережитого. Возможности, как в кинематографе, замедлить кадры собственной жизни. Он, конечно, осознал, что не всегда бывал прав и разумен и что вечная правота одного человека — иллюзия, которая рано или поздно рассыпается в прах. <...>

Легко ли сжечь мосты!

<...> Хрущев не раз говорил и на больших совещаниях, и в узком кругу, что нельзя допускать идеологической разболтанности, из которой, по его мнению, в общественной жизни могут возникнуть неуправляемые процессы. Он, например, не очень-то ценил эренбургское определение «оттепель», считал, что иная оттепель может обернуться катастрофическим паводком. Эту позицию Хрущева использовали довольно умело. К 1963 году, когда идеологическая ситуация особенно обострилась, Хрущев был «заведен» до предела. Ему всюду мерещились происки злосчастных абстракционистов, обывательщина, мелкотравчатость. На его мироощущение явно давил внутренний цензор, заставлявший проверять себя: не слишком ли отпущены вожжи, не наступил ли тот самый грозный паводок? В нем жили два человека. Один осознал, что необходимы здравая терпимость, понимание позиций художника, предоставление ему возможности отражать реальную жизнь со всеми ее действительными противоречиями. Другой считал, что имеет право на окрик, не желал ничего слушать, не принимал никаких возражений.

Теперь чаще всего вспоминают именно такого Хрущева. Но мне хочется вот о чем рассказать. Именно в 1963, «остром» году Никита Сергеевич посмотрел как-то на «Мосфильме» картину об аме-

риканских летчиках, которые должны были нанести по нашей стране атомный удар, но, поднявшись в воздух, вопреки команде сбросили бомбы в океан. Я так и не смог узнать название этого фильма. Рассказывали, в какую ярость пришел Хрущев. Как же так, мы показываем наших потенциальных противников такими благородными рыцарями, гуманистами, нарушающими приказ о бомбежке России! Какую же идейную нагрузку несет такой фильм? Он что, сделан советскими кинематографистами или его производство оплачено американцами? Хрущев поручил Суслову разобраться в этой истории.

Следствие началось, а через несколько дней было готово соответствующее постановление. В нем шла речь не только об этой картине. В «черный список» включили немало других, в том числе и только что вышедший на экран «Девять дней одного года»⁵. Как главный редактор газеты я был ознакомлен с проектом этого постановления. Оно вызвало у меня смутнение. Дело в том, что за несколько дней до этого «Известия» статьей А. Аграновского решительно поддержали фильм «Девять дней одного года», а «Правда» поместила резко отрицательную рецензию на него В. Орлова. Тогда я не стал звонить «главному» «Правды», чтобы выяснить причину отповеди нашей газете, не подумал, что за этим кроется нечто большее, чем просто разница в оценках.

Прочитав проект постановления, решил посоветоваться с одним из помощников Хрущева. Он подтвердил мои худшие опасения: раздраженная реакция Хрущева на фильм об американских летчиках проецировалась Сусловым на другие фильмы, никак с ним не связанные. Что было делать? Ведь речь, по сути, шла о резкой перемене взгляда на работы лучших мастеров кино, на фильмы, созданные после XX съезда. Владимир Семенович Лебедев, занимавшийся в секретариате Хрущева вопросами идеологии, сам ничего уже поделать не мог. «Просись на прием к Хрущеву, объясни ему ситуацию, выскажи свою точку зрения». — «Когда, как?» — спросил я. «Прямо сейчас, времени в запасе нет. Хрущев один в кабинете (шел уже одиннадцатый час вечера), я доложу».

Надо сказать, что на прием к Хрущеву я просился впервые. Не знаю, что он подумал, когда Лебедев доложил ему обо мне.

Никита Сергеевич выглядел очень усталым. Спросил, в чем дело. Коротко рассказал о ситуации, я положил листок постановления на стол и ушел. На следующее утро в ЦК было срочное совещание. Его вел Хрущев. Не хочу по памяти воспроизводить его выступление. Постановление в том виде, как оно готовилось, не было принято. Многие прекрасные картины, в том числе

и «Девять дней одного года», составившие гордость обновленного кинематографа, там не упоминались.

Не так просто, как иным товарищам кажется, давались мне и другим газетчикам подобные акции. Думаю, что Суслов не простил мне этого обращения к Хрущеву. Когда на Пленуме ЦК речь шла о смещении Никиты Сергеевича, он бросил несколько реплик в мой адрес. Одна поразила меня. «Представьте себе, — говорил Суслов, — я открываю утром газету "Известия" и не знаю, что в ней прочитаю».

В «отставке» Хрущев вроде бы осознал, что не все ладилось у него во взаимоотношениях с интеллигенцией. Однако до конца дней он полагал, что его требования носили вполне оправданный характер — нельзя даже в мелочах поступаться идейными убеждениями. Когда он «размахивал кулаками», стыдил, бранил, горячился, он не держал камня за пазухой. Во время более чем жаркой дискуссии со скульптором Неизвестным он пообещал прийти к нему в мастерскую. Видел вполне реалистические композиции скульптора и говорил: «Вот это другое дело».

Автором памятника на могиле Хрущева стал Эрнст Неизвестный.

На выставке в Манеже, посвященной тридцатилетию МОСХа, пояснения Хрущеву давал президент Академии художеств Серов. Я шел в толпе, окружавшей Никиту Сергеевича, слышал, с какими намеренно негативными акцентами говорил Серов о Фальке и некоторых других художниках, впервые за многие годы выставленных явно «для объективности» (а точнее, чтобы «раздразнить», разъярить Хрущева). Так вот, удостоверяю, что, разглядывая картины, Хрущев никаких грубых оценок не давал. Тогда его повели на второй этаж, где в углу небольшого зала сбилась группа абстракционистов. Здесь он не сдержался.

Именно теперь немало желающих вспомнить Хрущева в минуты его раздраженных объяснений с поэтами, писателями, художниками, режиссерами. Казалось бы, критиковать Хрущева было проще в застойные годы, это находило всяческую поддержку. Но, видно, не все хотели тогда подчеркивать свою связь с эпохой XX съезда. Иных вполне устраивало «застойное» личное благополучие. Не потому ли так важно им сегодня напомнить о себе: вот ведь, на меня топал ногами сам Хрущев!

Иногда мне хочется спросить: была бы у нас возможность самых разных воспоминаний, если бы не десятилетие Хрущева? И, с другой стороны, правомерно ли связывать всю сложность, неоднозначность, непоследовательность процессов, начинавшихся в стране после XX съезда, только с теми или иными чертами

характера Хрущева? Зададимся и другим вопросом. А может ли любой человек в том положении, какое дает подобная власть, вовсе избежать ошибок? Когда вам каждый день и каждый час говорят, что любые ваши замечания точны и глубоки, анализ событий верен и научно взвешен, советы дали необычайно быстрый эффект, когда вы засыпаете с мыслью, что высокий пост вечен, а сроки жизни вам постараются продлить всеми способами, — легко ли сохранить чувство самоконтроля? Административная система власти, созданная Сталиным, как раз и была рассчитана на непререкаемость мнений одного человека, вождя. Ушел из жизни Сталин, но Система не сдавалась. Эта Система — самое великое изобретение Сталина. Она пережила потрясения XX съезда. Сломать ее в те годы не удалось. И кое-кто будет стоять за ее сохранение до последнего и сегодня.

Мир вблизи. Борение страстей

<...> Последний заграничный визит был у Хрущева в 1964 году в Скандинавию. Он плыл морем, и летняя Балтика щедро одаривала его покоем и солнцем. От многого устал этот беспокойный человек, и видно было, как годы гасят в нем прежний пыл. Позже эту поездку ставили Хрущеву в вину, так как она, дескать, не диктовалась политической необходимостью. Может быть, это и так. Однако Хрущеву она дала много. В Швеции и Дании он познакомился с постановкой животноводства. Прекрасные фермы на датском острове Фьюм, где корова дает около десяти тысяч литров молока в год, при жирности в 4–5 процентов, были для него не только образцом, но и укором. Во всяком случае, посещая хозяйства, Хрущев не давал фермерам никаких советов.

Еще несколько как бы мимолетных впечатлений дали толчок к серьезным раздумьям. Вначале он отнесся к тому, что узнал и увидел, с некоторой иронией, а позже расценивал по-иному. Чтобы точнее понять его реакцию, стоит еще раз вспомнить об отношении Хрущева к различным, как мы сейчас говорим, привилегиям. Почти сразу после XX съезда партии отменили дополнительную «закрытую» зарплату, коей одаривали со сталинских времен довольно широкий круг аппаратчиков. Я сам, как главный редактор «Комсомольской правды», получал такие конверты. Их разносил обычно главный бухгалтер издательства «Правда» А. Васильев, безмолвно пожимал руку и удалялся. Эта «добавка» увеличивала мое жалование почти вдвое. С этих денег не брали никаких взносов, в том числе партийных, не взимали налогов — они как бы были божественным ниспосланием, манной не-

бесной, которая сыпалась в избранные карманы. В подмосковный правительственный санаторий «Барвиха» стали пускать только в отпуск, по путевкам, а не в служебное время для «передышки». Ввели плату за пребывание там.

Долго бился Хрущев с персональными автомобилями. Их количество резко сократили, ввели для ряда лиц талоны на пользование разъездными автомашинами либо такси, разрешили продажу учрежденческих машин этому кругу лиц в личное пользование с тем, чтобы те обходились без шофера.

Давалось все это тяжело. Мало кто хотел «распривилегировываться». Хрущеву, конечно, докладывали, что все уже проведено в жизнь, поездки на казенных машинах по магазинам и базарам жен ответственных товарищей пресечены, отдых оплачивается теми, кто годами привык ничего за это не платить... Кое-что удалось переломить, но, в принципе, Хрущев понял, что ему не совладать с этой махиной, что аппарат не сдается. И все-таки «вспышки» демократизации, тяга к социальному равенству не оставляли Хрущева. Вернусь в этой связи к Скандинавии.

Хрущев давал прощальный прием в честь премьер-министра Швеции Эрландера. В конце вечера пошел проводить его к подъезду. Эрландер пожал руки советским товарищам, а затем подозвал гостиничного мальчика в красивой форме, сунул ему в руку монетку и о чем-то попросил. Через минуту мальчик подвез Эрландеру велосипед. Садясь на него, премьер сказал Хрущеву, что этот транспорт полезнее и экономичнее автомобиля, поскольку лимит на бензин очень строго ограничивает поездки премьер-министра.

Хрущев долго смотрел вслед высокопоставленному велосипедисту. Никак это событие не комментировал. Видел ли он себя в эти минуты на таком вот велосипеде, подъезжающим к Кремлю?!

Рассказываю это не как анекдот. В Дании премьер-министр Краг извинился перед Хрущевым и попросил его к себе на обед в небольшой компании, так как у него тесная квартира, да и та принадлежит супруге, известной датской киноактрисе. Обед вела жена Крага. Это был действительно семейный скромный вечер.

Вернувшись в Москву, Хрущев попросил своего шофера А. Г. Журавлева, который работал с ним с 30-х годов (у нас в семье этого милого, аккуратного человека, прекрасного водителя называли дядей Сашей), подготовить и подать к дому малолиitraжный «Москвич». На нем он и приехал однажды в Кремль. Скоро «Москвич» исчез с горизонта. Уговорили Хрущева, убедили. До его отставки оставалось совсем недолго. Могу себе представить, в каких выражениях честили «Никиту» те, кому надоели эти его «закидоны».

«Чудачество» Хрущева с поездкой на «Москвиче» не идет из головы и представляется отнюдь не шалостью старика, скорее, это был жест отчаяния, ибо выражал он смятение души, надлом в характере личности сильной, волевой, понимающей, что не удалось вырваться из плена аппаратной империи. Должность «партийного царя» не прельщала Хрущева, этому противилась его натура, рабочее происхождение, идеалы молодых лет, тот жизненный опыт, который существовал в нем глубже, чем внешняя приверженность к существующим правилам поведения. Но чем дальше, тем меньше у него оставалось сил для того, чтобы побороть установившиеся иерархические порядки.

Я уже говорил, что в пенсионные годы, щадя Никиту Сергеевича, не приставал к нему с расспросами и досужими разговорами, но иногда такие беседы возникали сами собой. Спросил как-то Хрущева о Суслове, о том, как мог он принимать этого сухого догматика-сталиниста, едва таившего свою неприязнь ко всему, что происходило в стране после XX съезда. Неужели не видел, что Суслов, по сути, был лишь «примкнувшим» к Хрущеву в ту пору, когда в июне 1957 года шла отчаянная схватка с просталинской группой Молотова, Маленкова, Ворошилова, Кагановича, Булганина и «примкнувшим» Шепиловым? Станным казалось, что секретарь ЦК Шепилов (умный, образованный человек, к которому Никита Сергеевич относился очень уважительно, ценил его, выделял) оказался среди противников Хрущева, а его сторонником стал ортодокс и сталинист Суслов. Хрущев ответил, что верил искренности Суслова, но, видимо, плохо знал его. <...>

